

Лицом к изысканному пологу
Разобрана постель живая и нагая
Стяг грозен
Его полет незавершенный
Дни гасит и пересекает ночи
Стяг грозен
Край почти пустынен
Почти
Поскольку всё кроили для сна и для любви
И у постели ты стоишь

Поль Элюар
(Перевод В. Андреева)

ГЛАВА 1

«Забавно, — слышался голос Беатрис; ему казалось, что он доносится откуда-то сверху, звучит высоко над ним, над их постелью, — забавно, что ты не забыл меня за эти пять лет...»

Он не ответил. Он слушал, как бьется ее сердце, как часто она дышит, охваченная страстью, ощущал испарину у нее на лбу — такие знакомые и так давно утраченные ощущения. Ему нечего было сказать ей, кроме того, что да, действительно, прошло пять лет, как она его бросила, и все это время он брел рядом с ней, не ощущая ни собственного тела, ни собственного сердца, брел, как бродяга, сознавая свое поражение и одновременно не осознавая его, и что только теперь, забывшись у нее на плече, он чувствовал себя так, будто вновь обрел свою единственную родину.

Его молчание заинтриговало Беатрис. Несколько лет назад в доме общих знакомых она познакомилась с молодым человеком, в ту пору служившим страховым агентом. Тогда он выглядел жалковато и похож был скорее на козленка, но она полгода держала его в своей «конюшне» в качестве

фаворита. Он был очаровательным и нежным, с карими глазами и каштановыми волосами, но, как ей казалось, внешне невыразительным. Себя она считала красивой брюнеткой и, как говорили ее критики и ее любовники, была порывистой и вместе с тем беззащитной, а ее высокие скулы и крупный рот лишь усиливали это впечатление. Беатрис сделала блестящую карьеру в театре и в кино — в так называемом легком жанре, который в те годы таковым вовсе не был. Теперь же она видела, что юный Эдуар, угловатый, длинноногий козленок, превратился в одного из лучших авторов «другого театра», того, что называют театром абсурда. Это было время распрей между снобами. Зрители тогда смеялись, плакали или отчаянно скучали на одних и тех же спектаклях, и только успех (государственные субсидии не в счет), а следовательно деньги, позволял выжить фиглярам из того или другого лагеря. За три года до этого Эдуар Малиграс, уже давно покинутый Беатрис, которая любила его, когда он был еще неизвестным автором, решил создать — кстати сказать, именно для нее — небольшую пьеску, которую сам считал пустячком; но, поскольку эта пьеска оказалась гениальной другу одной ее знакомой, спектакль поставили, и он тут же был замечен десятком серьезных критиков и множеством известных людей. Эдуар понял, что Париж может в каком-то смысле принадлежать и ему, сыну пенсионеров, растерянному юноше, влюбленному и грустному, однако он и представить себе не мог, что когда-нибудь настанет день — и литературный успех в Париже

подарит ему шанс, и он обретет женщину, предмет его давней пылкой любви и нежности; короче, с тех пор как он оказался в Париже, единственное, что ему удалось завоевать и потерять, была Беатрис.

Они лежали в темноте, он — немного наискось от нее, будто готовый к распятию. Сквозь черные волосы Беатрис он видел на холщовой скатерти сиренево-золотистые тюльпаны — уже раскрывшиеся, они слегка раскачивались на фоне окна. Ему показалось, что пять лет назад он видел те же самые тюльпаны, то же самое окно и очень близко — матово-розовую кожу, и вдруг почувствовал — или ему только показалось — несказанное счастье. Он никогда не переставал мечтать о нем, но только сейчас, в тот момент, когда эта женщина произнесла простые и будто зависшие в темноте слова, ощутил, что счастье рядом: «Забавно, что ты еще не забыл меня за эти пять лет...» Она ерошила ему волосы, глухо и раздраженно смеялась; он не расслышал, что сказала Беатрис, но понял, что она требует ответа. Отвечать не хотелось, надо было молчать, и он промолчал.

«А что я делал все эти пять лет? — подумал он, лежа на ее обнаженном плече. — Что я делал, кроме того, что пытался забыть ее, став знаменитым — так это называлось, — когда нужно было принимать участие в пустых беседах и идиотских диалогах с недоумками-журналистами, думать о том, что написал, хотел бы или мог написать? Что у меня было, кроме желания вернуть ее? Пять лет я, эдакий романтический герой Альфреда де Мюссе,

пытался забыть эту женщину, и самое нелепое — даже не знал, что именно она была моим палачом, моей супругой, сестрой и именно о ней я хотел бы забыть». Наконец, поскольку она продолжала трепать ему волосы и шутливо говорила что-то беспокойное и прерывистое, он засмеялся, поднял голову и стал целовать ее в уголки губ, потом с улыбкой, рассеянно, — во всяком случае, ему хотелось, чтобы это прозвучало рассеянно, — сказал, что никогда не переставал любить ее, но тем не менее с удовольствием выпил бы сейчас чего-нибудь. Она тотчас встала и направилась к бару. А у него, который имел смутное представление о себе самом, о своем характере и о своем будущем, вдруг возникло ощущение, что он — жертва безжалостной судьбы, и это странное, но вполне отчетливое ощущение лишь усилилось, когда в комнате с двумя стаканами в руках появилась Беатрис и сказала:

— Я и забыла, какой ты прекрасный любовник.

Он приподнял было голову, чтобы ответить: «Потому что ты не любила меня», но вместо этого вытянулся на смятой постели и прошептал одними губами, будто оправдываясь:

— Я давно научился... что ж ты хочешь...

ГЛАВА 2

На следующее утро он предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, ибо прекрасно помнил — хотя это немного смахивало на мазохизм, — как любила Беатрис выставлять себя напоказ: именно это, как он думал, заставило ее порвать с ним пять лет назад ради другого, более престижного любовника. Он же по природе своей был совершенно равнодушен к тому, что называлось сенсационной шумихой, ко всему этому жалкому фейерверку, сопутствующему успеху. Но в то утро, зная, как все это ей нравится, он предупредил ее желание, взяв инициативу на себя еще и потому, что боялся остаться один — на улице, в постели, не важно где — в одиночестве, где больше нет ее запаха, ее голоса; он готов был созвать завсегдаев всех популярных баров и ресторанов специально к ним на завтрак, стоило ей хоть чуть-чуть захотеть этого. По тому, как билось его сердце, как дрожали руки, он чувствовал, что все эти пять лет был лишен тока крови, воздуха, нервов. Он даже не пытался понять, почему потерял голову из-за этой женщины и есть ли у него надежда когда-нибудь забыть ее. И почему сейчас он так живо

вспоминает об этом. Он склонился перед ней, как перед божеством. Он больше не управлял своими чувствами, не мог сопротивляться им.

К его большому удивлению, Беатрис отказалась идти завтракать. Она предпочитала, по ее словам, побыть с ним вдвоем и велела принести в комнату бутерброды, белое вино, фрукты и кофе. Она рисовала таинственные знаки у него на груди, и лицо ее было то враждебным, то веселым; она касалась его шеи, плеч, ног, гладила пах. Казалось, она снова получила во владение то, что принадлежало ей всегда, хотя она и не сознавала этого, и тогда он подумал, не происходит ли с ней то же самое, что с ним; может быть, и она, так же как он, испытывает сейчас ощущение власти и судьбы, как на сцене. Но он уже слишком давно был в Париже и знал, что жизненные ритмы и повороты в этом городе куда более прозаичны, чем у Стендаля, и не рискнул расспрашивать ее о том, что она чувствует. В то же время он подавлял в себе тайное желание спросить тем же ревнивым и мрачным голосом, что и пять лет назад, почему она не хочет никуда с ним идти, не хочет с видом победительницы появиться в каком-нибудь ресторане, где завтрак превратится в акт неминуемого публичного признания и где он, Эдуар, будет выглядеть вполне достойным ее спутником. Она все так же не хочет показываться с ним на людях? Однако он хорошо знал, что теперь не нужно было делать тайну из их романа, как в прежние времена: они оба извест-

ные люди и имеют право съесть балтийскую селедку в два часа дня в каком-нибудь семейном ресторанчике, посещение которого означает одно: «Мы спали в одной постели, мы в восторге друг от друга, мы хотим есть».

— Ты стыдишься меня? — спросил он.

Она смотрела на него, гладила по голове, трепала ему волосы, ощупывала каждую клеточку его тела и улыбалась иронически, задумчиво и нежно — а может быть, проникательно? Она была такой, какой он видел ее в мечтах все эти долгие годы, с тех пор, как она оставила его, такой, какую он, казалось, забыл.

— Стыжусь тебя? — спросила она. — Нет, ты красивый, и ты это знаешь. Но почему ты хочешь куда-то идти? Сейчас день, светит солнце, меня это раздражает.

Она прижалась к нему, приникла к его шее и сказала довольно игриво, хотя и холодно:

— А сейчас я тебя помечу, мой дорогой малыш. Вот здесь у тебя будет синяк, целых две недели, и твои женщины ничего не смогут с ним поделать.

Она укусила его и слизала выступившую кровь — она была вампиром всей его жизни.

— Так ты действительно хочешь побыть со мной вдвоем? — спросил он, путаясь в мыслях, ощущениях и простынях, которые окутывали их обоих, будто паруса, надутые ветром — ветром наслаждения, разумеется.

Она не ответила, а потом уже не понадобилось задавать вопросы.

В четыре часа дня они сидели за столиком пивного бара, оба изнуренные, бледные и торжествующие. Круги у них под глазами воспринимались за всегдашними заведением как лавровые венки. В четыре часа, расслабленные, с сияющими глазами, они ели селедку с жареной картошкой и обменивались клятвами. И то и другое было с душком, разумеется; за всем этим неусыпно следили, наблюдали и все это запоминали неутомимые пролазы, легавые псы, разные люди, добрые и злые, те, кого называют приятелями, — словом, весь Париж, короче, посторонние. Один говорил другому: «Ну да, ты что, не помнишь, пять лет назад у них был такой роман!» Другой возмущался: «Но это же невозможно: она играет в бульварных пьесах. А то, что он пишет, нечто совсем иное, как мне кажется, не так ли?» И первый делает вывод: «Да, творческие поиски... но, надо сказать, она чертовски красива!» И оживленные, любопытные взгляды, будто вражеские или дружеские прожекторы, шарят по ним, приближают или удаляют их на экране этого бесконечного фильма; но для них всего этого не существует, потому что она говорит ему: «Ты что-то ничего не ешь, Эдуар. Разве ты меня не любишь?» — и он, держа в руке вилку с картошкой, которую никогда особенно не жаловал, отвечает: «Люблю и никогда не любил никого, кроме тебя. Но мне кажется, я не люблю селедку». И тогда государыня делает знак рукой, и метрдотель, их соучастник с той минуты, как они вошли, спешит к ним, и селедка исчезает. В четыре часа дня, когда всю светит солнце, они, спрятавшись в те-

ни за стеклом террасы и чувствуя, как оно беснуется снаружи, заказали две порции крепкой выпивки и благодаря усталости, желанию и алкоголю ощутили себя героями Фицджеральда. Больше их никто не видел и не слышал, потому что в тот день Эдуар и Беатрис целый день были на вершине блаженства.

Уже много лет Беатрис вела дневник. Это была записная книжка веленовой бумаги, в переплете из красной кожи, с висячим замочком, который, впрочем, не действовал, — она по привычке, казавшейся ей очаровательно устаревшей и напоминавшей о детстве, прятала эту книжку на бельевой полке. В тот день, как всегда, внезапно покинув Эдуара, она взяла ручку и записала несколько фраз:

«Встретила Эдуара. Он все так же очарователен. Все та же ненасытная страсть, из-за которой я его полюбила... Лет (?) назад». Тут она остановилась. (В этом вопросительном знаке было больше сожаления, чем цинизма. Потеряв счет своим бесчисленным любовникам, Беатрис приобрела то, что она так мило называла плохой памятью на даты, и это стало огорчать ее. Качество, которое, укоренившись, могло бы привести ее к угрызениям совести или по крайней мере вызвать смутнение.) Она дополнила: «В нем чувствуется не только талант, но и сильная потребность в душевном тепле, в его золотисто-карих глазах я видела такой отчаянный призыв (она поставила маленькое тире, тщательно и с удовольствием) — что тут же

решила изменить и перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь. Завтра я порву с Б... (это многоточие ни для кого не было тайной: весь Париж знал, что она живет с продюсером Бруно Кане) и скажу Эдуару, что возвращаюсь к нему».

Закончив сей непревзойденный шедевр пунктуации и лицемерия и посчитав последнюю фразу определяющей по крайней мере на ближайший год, Беатрис закрыла тетрадь допотопным ключиком и спрятала ее между ночными рубашками. Как все чувственные и волевые люди, ведущие свободный образ жизни, она оправдывала себя, принимая подобные решения, устно или на бумаге, как бы жестоки они ни были. Потом она причесалась, накрасилась и тихо замерла, подтянув колени к подбородку; на ней был гранатового цвета пеньюар, явно задуманный для такой позы. Беатрис подумала, что надо бы выбрать книгу, которая покорит Эдуара, когда он придет. Она ведь была неглупа и много читала. Выбор оказался не из легких. С «Черной серией» она рисковала показаться пустышкой, Пруст придал бы ей претенциозности, а Валери, подумала она, загадочности. И она остановилась на последнем.

Все это время Эдуар, как безумный, ходил по Парижу, не переставая думать о том, есть ли у него шанс, просто шанс, маленький шанс снова увидеть Беатрис. Она так внезапно покинула его у дверей ресторана... Он накопил цветов, пластинок, книг, то, что любил сам, но все это для нее, лелея слабую надежду на то, что консьержка Беатрис не прого-

нит его вместе с подарками. Он был безумен, слаб и неосмотрителен; ему следовало поставить вопрос ребром и сказать: «Когда мы увидимся? Где?» То, что Беатрис сказала ему: «Я люблю тебя», вовсе не означало договоренности о свидании. Ему следовало бы знать — если кто-то говорит: «Я люблю тебя», это относится лишь к данному моменту, сиюминутному желанию того, кто говорит, а никак не вашему; для человека, влюбленного так, как он, любовь — состояние перманентное, и, когда ни назначай свидание, оно всегда лишь отсрочка, и любая дата — только обида, страдание, несчастье, вот ведь в чем дело...

Конечно, раз он провел ночь в объятиях женщины, которая заверила его в своей любви, он вправе ей позвонить. Но она так быстро развернулась тогда у дверей ресторана, так весело бросила ему «до свидания», что теперь он не знал, как быть. Собственные чувства, воспоминания, вновь открывающиеся возможности — все вызывало в нем сомнения; короче, он запутался в себе самом. Ничего не замечая вокруг, он наткнулся на прохожих, которые принимали его за сумасшедшего, за одного из тех, кому кажется, что Рождество наступило уже — в сентябре; впрочем, ему так и казалось, — и в конце концов, приготовившись к худшему, оказался перед домом Беатрис.

Было уже семь часов вечера, Беатрис скучала и уже начала сомневаться в своем испытанном искусстве обольщения. После того как у дверей ресторана она, как всегда, небрежно бросила ему

«до свидания», не произошло ничего: ни звонка, ни цветка, ни какого-либо другого знака. Она начала себя ненавидеть, потому что, надо заметить, когда события развивались не так, как ей хотелось, она предпочитала не жаловаться, а размышлять о причинах случившегося и себя ненавидела ровно настолько, насколько ненавидела всякую неудачу. Когда раздался звонок в дверь и она услышала, как привратник Гийом бормочет что-то в дверях, что-то объясняет, у нее, как ни странно, ни на мгновение не возникло предчувствия, что это мог быть Эдуар. И когда Беатрис увидела его с охапкой цветов, увешанного пакетами, часть которых ему помогал удерживать Гийом, когда посмотрела на этих двоих мужчин, оторопело стоявших рядом в страхе перед ней, Нефертити, царицей этих мест, она почувствовала порыв неподдельной любви к Эдуару. Он пришел, он был рядом, все идет как надо, его появление было ответом на важнейший вопрос, ужасный вопрос, который преследовал ее с детства: «Нравлюсь ли я?» Вероятно, на лице у нее отразилось такое облегчение, что рассеянный Эдуар, Эдуар-мечтатель, это заметил. Он выпустил из рук пакеты и, пока Гийом удалялся с давно им усвоенной поспешностью, обнял Беатрис и сказал ей с удивительной уверенностью, видимо приобретенной в аду, откуда он только что выбрался: «Ты скучала по мне, а?»

Он не удивился ни когда она кивнула в ответ и, подняв голову, медленно поцеловала его в уголок губ, ни когда распахнула его пальто, потом пиджак, расстегнула пояс брюк, все так же не гля-

дя на него. Они стояли в залитом светом холле, и, наверное, за ними наблюдали, но ей это было явно безразлично, он же снова почувствовал живительный ток собственной крови. Эдуар боялся пошевелиться, уголком губ чувствуя губы Беатрис и думая о том, повторяя себе, что любовь — вещь возвышенная. И вот ее рука скользнула ему под рубашку — теперь она сама шла навстречу к нему, Эдуару, — нелюбимому; и в этом самом холле, по-прежнему идиотски освещенном, она прижала его к себе, вздохнула и каким-то странным голосом дважды назвала по имени: «Эдуар, Эдуар». Он чувствовал, что губы не слушаются его, прерывисто дышал, думая о том, что это безумие какое-то, бог знает что, ведь они в двух шагах от ее голубой спальни, от постели, их постели. Что они делают, запутавшись в собственной одежде, покачиваясь, как два изнуренных схваткой борца! Но в глубине сознания он чувствовал, что она права, что у них нет времени на эти несколько шагов и что молящая рука, обхватившая ее за талию, и рука требовательная, обнявшая его, мудры так же, как их безумие и безудержная уверенность в том, что нужно делать. Он слегка повернул голову, и тут же губы Беатрис нашли его губы; он перестал бороться с собой, распахнул пунцовый пеньюар, ни на секунду не удивившись тому, что под ним ничего не было, и приняв это как должное, хотя еще час назад умер бы, представив такое. И тогда, прижав ее к стене между двумя зелеными и равнодушными растениями в кадках, он овладел ею; она высвободила руку, которой возбуждала его, и попыталась

соединить руки у него за спиной; она гладила его по бокам, кусала его, бормоча какие-то бессвязные слова. Позже — тогда он уже был так счастлив и так близок к пропасти, что вынужден был, пытаюсь взять себя в руки, упереться кулаками в эту проклятую стену, — она потянулась ему навстречу и глухо застонала, сцепив наконец руки на его напрягшейся спине. Ее голос (низкий, странный и прекрасный) приказал Эдуару: «Иди ко мне», и звучал он так, что он тотчас отдался ей весь, она же, стиснув зубы, прикусила воротник его пиджака в последнем и запоздалом усилии соблюсти приличия.

И вот она замерла, прижавшись к нему. Они так и стояли, растерянные и изнуренные, с широко открытыми глазами, и люстра освещала их бесцветными огнями — бесцветными в сравнении с таким наслаждением и бурным коротким замыканием их зрачков. Беатрис, не глядя на него, медленно отстранилась, мечтательно, как ему показалось, поцеловала его в губы, а он затих, неподвижный, покрытый испариной, охваченный, может быть, страхом или счастьем — как знать?

— Что это за свертки? — спросила она.

Она подняла голову и посмотрела на него. Она любила его — он это чувствовал; она любила его в эту минуту, и, что бы там ни было дальше, по крайней мере сейчас она его любила.

— Не знаю, — сказал он, — подарки для тебя.

— Мне не нужны подарки от тебя, — нежно сказала она. — Мне нужен только ты, ты сам.

Она ушла в комнату, и он, секунду помедлив, пошел на свет и тоже оказался в голубой комнате с тюльпанами. Беатрис лежала поперек кровати, приложив руку к губам. Он посмотрел на нее и накрыл ее собой. И только когда она стала кричать, потом умолять его, потом выкрикивать проклятия, он понял, что ему никто никогда не будет нужен, кроме нее, и что постоянство, видимо, существует.

ГЛАВА 3

— Это странно, — пророкотала Тони д'Альбре (урожденная Марсель Лагنون из Прованса), — на тебя это не похоже...

В голосе Тони звучал оттенок восхищения, но в то же время и упрека, который относился к Беатрис. Вот уже семь лет она была в «конюшне» Тони, и у нее были все основания, как и у дюжины других актеров, поздравить себя с таким импресарио. Маленькая, коренастая и подвижная (про нее говорили «как ртуть»), Тони д'Альбре соединяла в себе рабскую душу, алчность, деловое чутье и лицемерие, что позволило ей стать одним из самых результативных театральных агентов в Париже. Знавшие ее люди, в зависимости от их темперамента, находили ее либо энергичной, либо невыносимой, но все сходилось на том, что надо держать ее сторону, ибо она общественно опасна. Она, впрочем, была в восторге от подобного мнения о себе.

— Чем ты занималась целую неделю, почему не звонила мне? Кроме любви, разумеется, — добавила она с сальной улыбочкой, которая должна была, по ее мнению, быть улыбкой сообщницы.

Она и в самом деле играла роль подруги, доверенного лица и переиграла все роли, опекая своих незадачливых «детिशек», ослепленных вспышками света, заблудившихся в собственных отражениях, как это часто бывает с актерами. Она ставила на все: на их алчность, их мужество, их тщеславие и их пороки, если таковые имелись. Она пыталась извлекать выгоду из всего. Она была их руководителем во всех смыслах этого слова и старалась схватить добычу с наименьшими затратами.

Беатрис, поддаваясь обману и не поддаваясь, смотрела на нее из-под длинных ресниц. Как обычно, Тони была неряшливо причесана, плохо подкрашена, и, как обычно, Беатрис, которая не знала, что это ловкий прием, чувствовала к ней снисходительность и расположение.

— Я занималась только любовью и больше ничем, — призналась она.

— Можно узнать, с кем?

Тони разыгрывала нетерпение. В самом деле, десяток свидетелей видели, как Беатрис завтракала вдвоем с молодым автором Эдуаром Малиграсом, и вот прошла неделя, однако никто и словом не обмолвился ни о том ни о другом. Сопоставив некоторые факты, Тони была уверена, что все поняла.

— Ты его не знаешь, — мечтательно сказала Беатрис.

«Однако она преувеличивает!» — подумала Тони. В Париже шла уже вторая пьеса Эдуара, и с неизменным успехом. Это был интеллектуальный театр, театр не для всех, на таких, как Тони, людей,

не страдающих снобизмом, он наводил скуку, но она уважала успех. Физиономию Эдуара можно было увидеть на страницах доброй дюжины театральных журналов. Из вежливости она соблаговолила задать вопрос, но, вообще-то, достаточно было прикинуться дурочкой.

— Ты уверена — так-таки и не знаю? — спросила она, пытаясь придать своим голубым немного навывате глазам лукавый блеск.

— Ты, может быть, знаешь его имя, — все так же мечтательно продолжала Беатрис, — но его, его самого, не знает никто. Я имею в виду — каков он на самом деле.

«Так-так, она еще решит, что влюбилась, — подумала Тони, привыкшая к авантюрам Беатрис и знавшая, что та делит их на два вида: одни — в классическом варианте — «без чувства» и другие, куда более утомительные для ее окружения (и более редкие, слава тебе господи), — «с чувством». Она вздохнула и впервые решилась обронить искреннее замечание:

— Он несомненно талантлив, несомненно, но это не годится для нашего театра.

— Не вали все в одну кучу, — строго сказала Беатрис.

В лучах утреннего солнца, против света, она была невероятно красива. Тони вынуждена была это признать: Беатрис никак нельзя было дать тридцать пять, хотя она этого никогда не скрывала.

— Довожу до твоего сведения, что через неделю ты уезжаешь на гастроли, моя дорогая, — сказала Тони.

На этот раз Беатрис печально покачала головой.

— Он переживет это с большим трудом, — сказала она. — Он так чувствителен.

Из ванны донесся веселый мужской голос, напевавший классическую оперную арию. Дверь широко открылась, и на пороге показался чувственный мужчина, в халате, растрепанный и, как показалось Тони, невыносимо юный. Он спохватился и сделал извиняющееся лицо, а Беатрис, томно, как на официальном приеме, представила его.

— Эдуар Малиграс, — сказала она, — Тони д'Альбре, мой ангел-хранитель и моя сводня.

Она засмеялась, двое остальных пожали друг другу руки, и Эдуар покраснел вместо Тони, совершенно им очарованной.

— Тони принесла жестокую весть: на следующей неделе я уезжаю на гастроли, — сказала Беатрис.

— А-а! — только и сказал Эдуар и в замешательстве сел в изножье кровати.

На эту неделю, пламенную и нежную, неделю в красных и перламутровых тонах, он забыл об остальной жизни, вернее, о том, что люди называют жизнью, и маленькая решительная брюнетка, удобно устроившаяся в кресле, показалась ему ужасной, как воплощение злого рока. Эта невзрачная низенькая женщина, в которой, несмотря на ее притворную доброжелательность, угадывался сильный характер, была истинным воплощением своего времени, своей среды, образа мыслей, который он всегда ненавидел и которого теперь боялся, как злейшего врага, угрожающего его счастью.

Беатрис — он чувствовал это и всегда знал — плавала в этом мире как рыба в воде, и ей это нравилось.

— Мы начнем с севера, с Амьена, — говорила посланница судьбы, — потом через Париж отправимся на юг. Мне очень понравилась ваша последняя пьеса, мсье Малиграс, — «Ураган недвижим».

Она сделала паузу после слова «мсье», думая, что Малиграс тут же скажет ей: «Зовите меня Эдуар», но он явно думал не об этом, и она разозлилась. «В конце концов, эти интеллектуалы, какие бы они ни были — коммуникабельные или нет, как они выражаются, — делают ту же работу, что и я, все мы в одной лодке...» Лицо у нее дернулось, Беатрис заметила эту перемену настроения и развеселилась. Она нуждалась в Тони больше по привычке, чем по необходимости: ведь она уже была известной актрисой; но ей страшно нравилось прижимать Тони, видеть, как ей «утирают нос». Сама она прекрасно чувствовала ауру силы вперемешку с вульгарностью, окружавшую эту женщину. И она то смеялась вместе с ней, похлопывала ее по плечу, обнимала, обласкивала, то держала ее на расстоянии, следуя почти животному инстинкту, как отстраняются от слишком пронырливых или слишком нелепых людей. Инстинкт часто заменял у Беатрис работу мысли, и в этом не было ничего плохого.

— Но если ты уезжаешь, — сказал Эдуар и развел руками, — что же мне-то делать?

Он казался таким безоружным, таким искренним, что Тони вздрогнула. «Он сумасшедший, этот